



— СЕРГЕЙ МОГИЛЕВЦЕВ —

— ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ —

РОМАН

АНДЕГРАУНД

Сергей Могилевцев

Андеграунд

«Accent Graphics communications»

2014

Могилевцев С.

Андеграунд / С. Могилевцев — «Accent Graphics communications», 2014

Герой романа «Андеграунд» уверен, что люди делятся на две части: тех, что живут при солнечном свете, и тех, что живут в андеграунде. Сам герой романа живет в андеграунде, и делится с читателями знанием этой страшной и блистательной жизни. Второе издание.

© Могилевцев С., 2014

© Accent Graphics
communications, 2014

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	7
Глава третья	9
Глава четвертая	12
Глава пятая	14
Глава шестая	16
Глава седьмая	19
Глава восьмая	23
Глава девятая	27
Глава десятая	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Сергей Могилевцев

Андеграунд

Глава первая

Я человек андеграунда. Это значит, что я живу под землей. Я всегда жил под землей, но только не показывал вида, что я там живу. Я очень рано научился маскироваться, и делать вид, что я живу наверху, но на самом деле я всю жизнь прожил внизу. Сейчас мне сорок четыре года, и я еще удивляюсь, что я так долго прожил под землей, и не умер от туберкулеза, или от какой-нибудь другой болезни, вызванной сыростью. А то, бывает, что под землей происходят обвалы, и наверх поднимают одни лишь бездыханные тела, которые раньше были людьми. Впрочем, меня некому поднимать наверх, поскольку я никому не нужен, как и мне не нужен никто. Я остался совсем один в своем подземелье, и если меня действительно засыплет землей, или я заболую от сырости туберкулезом, никому не придет в голову протянуть мне руку. Таких отверженных, как я, все ненавидят, и они точно так же ненавидят всех остальных. Люди, живущие наверху, среди солнца, света и свежей зеленой травы, боятся таких подземных существ, как я, они принимают их за мерзких насекомых, вроде мокриц, тараканов, или сколопендр, и норовят инстинктивно раздавить ногой. Они не понимают их, и поэтому ненавидят, считая порождением самого черного и мерзкого зла. Все, что люди не понимают, они ненавидят, им так легче жить наверху, среди солнца, света и зеленой травы. А что, скажите, остается делать таким подземным тварям, вроде мокриц, тараканов и сколопендр, как в свою очередь ненавидеть людей, считая их такими же отверженными тварями и исчадьями ада? Все относительно, господа, и не думайте, что раз вы живете сверху, среди солнца, света и разных зеленых растений, у вашей ненависти есть особое преимущество перед какой-то иной ненавистью. Нет у вашей ненависти, господа, никакого преимущества перед ненавистью мокрицы или сороконожки, которая ненавидит вас не менее сильно, чем вы ее. Верх и низ – это понятия относительные, спасибо Эйнштейну хотя бы за это, хотя, впрочем, за атомную бомбу ему тоже спасибо, поскольку я, как и всякая другая мокрица на свете, страстно желаю, чтобы атомная бомба убила людей. Чтобы все люди погибли от радиации, и только лишь мы, мокрицы, сороконожки, тараканы и пауки, а также прочие сколопендры, остались в живых. Нам, живущим внизу, радиация не страшна. Жителей андеграунда атомная бомба не берет, а если и берет, то не так сильно, чем тех, кто живет наверху. Мы, жители подземных глубин, переживем любую войну, в том числе и атомную, а вы, обитающие наверху, не переживете. Наша ненависть к вам поможет нам пережить ее. Мы сильны своей ненавистью и своей философией подземелья. Мы сильны своей философией андеграунда, которая не менее возвышенна и глубока, чем философия Платона, Гегеля, или Канта. А я, господа, знаю, о чем говорю, я когда-то учился в приличном вузе, и изучал все эти философии Платона, Гегеля и Канта, притворяясь, что я такой же, как все, хотя уже тогда знал, что на самом деле живу под землей. Тогда мне еще доставляло удовольствие дурачить других, делая вид, что я такой же, как и они, хотя на самом деле я был мокрицей, обитавшей в заброшенном подземном туннеле. Поэтому я достаточно успел набраться вашей мудрости, достаточно научиться в ваших институтах, и достаточно почитать книг в ваших публичных библиотеках. И поэтому я знаю, что философия андеграунда не менее глубока и возвышенна, чем все ваши выдуманнные из головы и высосанные из пальца философские системы и схемы. Мы, подземные жители, выдумали свою философию андеграунда не от скуки, и не от желания показать, насколько мы умны и изощренны, а от насущной необходимости. Ненависть к вам заставила нас выдумать ее. Постепенно я изложу в этих записках основы философии андеграунда, возможно, они помогут тем, кто тоже, вынужденно, или специально, окажется в подзе-

мелье. Всякое ведь может случиться в жизни, и ни от чего зарекаться нельзя: ни от сумы, ни от тюрьмы, ни от конечного андеграунда. Все мы под Богом ходим, и неизвестно, куда в конце концов попадем: в ад, или в рай? По крайней мере, здесь, в России. Здесь, в России, господа, можно попасть куда угодно, и есть такие места, в которых даже мой андеграунд покажется вам раем. Впрочем, нет, это я так пошутил, возможно, чей-то другой андеграунд вам и покажется раем, а мой андеграунд не покажется точно. Мой андеграунд – самый последний и глубокий туннель на земле, ниже которого опуститься нельзя. Даже мокрицы, господа, тараканы, сколопендры и пауки опасаются заходить в мой андеграунд. А я вот живу, и ничего, и даже о философии Платона, Канта и Гегеля рассуждаю. Жить, господа, везде можно, в том числе и в моем подземелье. И если вы это сейчас не понимаете, то потом обязательно поймете. Как опуститесь сюда, так сразу же и поймете. А если мои записки внимательно прочитаете, то, возможно, и выживите в андеграунде. Приятного чтения, господа. Я пока немного устал писать, и рука, держащая перо, у меня онемела, но как только немного передохну, напишу что-то еще. И даже обязательно напишу, поскольку я долго сдерживался, и писать не хотел, а теперь меня не остановит уже никто.

Глава вторая

Да, господа, теперь я должен писать, поскольку сдерживался очень долго, и все откладывал в дальний ящик. Все думал, что я из этого андеграунда выберусь, что он у меня не навсегда, что это временное состояние, и что я в итоге окажусь наверху. Так человеку, упавшему в глубокую яму, все время кажется, что он из этой ямы как-нибудь сможет выбраться, и вновь пойти вперед своим прежним путем. Я тоже лет примерно до тридцати считал, что я в этой яме, в этом своем подземелье сижу лишь временно, что это всего лишь какая-то трагическая ошибка, какая-то трагическая случайность, посадившая меня в этот туннель, и надо только лишь приложить побольше усилий, чтобы найти из него выход. Но как только я начал прилагать побольше усилий, я тут же оказывался в новом туннеле, ничем не лучше, чем тот, который недавно покинул, и мой андеграунд продолжался дальше, оставляя меня своим пленником. Но до тридцати лет, как я уже говорил, я еще делал попытки покинуть его, хотя уже тогда начинал потихоньку ненавидеть тех, кто живет наверху. Начинал ненавидеть людей. Ведь я уже тогда вполне отчетливо осознал, что я или мокрица, или таракан, и мне не по пути с теми, кто называет себя людьми. Моя ненависть к людям накапливалась постепенно, поскольку я ее тщательно скрывал не только от других, но и от самого себя. Скрывал потому, что наивно думал, будто я в итоге смогу стать таким же, как и все остальные. Страшно ведь, господа, признаться самому себе, что ты мокрица, или таракан, что ты всегда был таким, и другим стать никогда не сможешь. Хотя иногда, в минуты величайшего просветления и величайшего прозрения, я упивался этой своей непохожестью на других, и этой своей ненавистью к другим, понимая, что это мое величайшее сокровище, которого нет больше ни у кого. Понимая, что это величайший дар, спущенный мне свыше, возможно даже самим Богом, и я должен этот дар лелеять и холить, чтобы он, не дай Бог, не отсырел в моем подземелье, и куда-нибудь не исчез. Что я должен лелеять и холить свою ненависть, дающую мне такое величайшее наслаждение, которого, возможно, не испытывал больше никто на земле. Но наслаждение не только от самой ненависти, но и от самоуничтожения и саморазрушения, ибо в самоуничтожении и саморазрушении кроется такая величайшая сладость, о которой вы не можете даже мечтать. Разрушить самое дорогое, что существует у тебя на земле, что, возможно еще соединяет тебя с миром людей, порвать эту последнюю ниточку, соединяющую тебя с солнцем и светом. Унизиться до последней возможности, разрушить себя так, чтобы уже не суметь подняться, втопав себя самого в грязь, и испытать от этого неизъяснимое наслаждение. Испытать такой мощный оргазм, который, возможно, и не снился никому на земле. Что ваш секс, что ваши дешевые оргазмы перед вселенским оргазмом саморазрушения и самоуничтожения?! Что ваши длинноногие красотки и победительницы конкурсов красоты перед философией живущей в подземелье мокрицы, которая разрушила своими руками все самое дорогое, что у нее когда-либо было, которая унизилась и самоуничтожилась до крайности, до того, что должна теперь вечно сидеть в своей щели? Что ваши глянцево-журнальные неотразимые плейбои перед сладостью последнего вселенского отчаяния и перед самоуничтожением, о котором вы не можете даже помыслить? Что ваша верхняя жизнь, основанная на улыбках, семье и браке, на якобы дружеских отношениях и привязанностях, на чувстве долга и на любви к Родине, которую надо защищать ценой своей жизни? Что все это перед судьбой мокрицы, у которой нет ни любви, ни семьи, ни привязанностей, ни чувства долга, ни Родины, и у которой этого больше уже никогда не будет, поскольку она все это разрушила собственными руками? Вы понимаете, господа, к чему я клоню? А клоню я к тому, что у мокрицы все это есть тоже: и любовь, и семья, и привязанности, и чувство долга, и Родина, но только с противоположным знаком. Мокрица и вы, господа, – всего лишь зеркальные отражения один другого, и не больше того. Все, что у вас есть, у нее давно уже сгорело и потерялось, а то, что есть у нее, скоро исчезнет у вас.

И поэтому, господа, нет у вас никакого преимущества перед мокрицей, и ваш верхний мир ничуть не лучше, чем ее нижний. И не имеете вы никакого права осуждать ее жизнь, ее саморазрушение, и ее самоуничужение, поскольку это всего лишь отражение в зеркале того, что происходит с вами самими. Вы смотрите на мокрицу, господа, и видите самих себя, да только не хотите в этом признаться. И потому вы так сильно ее ненавидите, потому травите ее дустом и кипятком, да норовите при случае раздавить каблуком. Кого ненавидите, господа? – Себя ненавидите! Кого травите? – Себя травите! Кого давите каблуками ваших шикарных туфель и домашних стоптанных тапочек? – Себя, господа, всего лишь себя! Неча, господа, на зеркало пенять за то, что рожа крива! Такие же вы мокрицы, тараканы, сколопендры и пауки, как те, что живут под землей. Такие же, как я, только не хотите в это признаться. И нет поэтому, господа, между нами никакой принципиальной разницы, и так же унижаетесь вы, как я, и так же ненавидите, как я, и так же разрушаете все, что имеете. Ханжи вы, господа, ханжи и последние пошляки, и нет у меня к вам никакой жалости, а есть лишь одна моя ненависть, да еще, пожалуй, презрение. И осознание того, что, самоуничужаясь и саморазрушаясь, я намного выше вас, потому что понимаю, что делаю, понимаю, что творю, а вы не понимаете. Слепые котята вы, господа, слепые котята по сравнению со мной, а также остальными мокрицами, сороконожками и тараканами, и никогда уже не станете зрячими.

Глава третья

Я, между прочим, пишу о русском андеграунде, поскольку иностранного андеграунда не понимаю, и не знаю, существует ли он вообще. Но если все же и существует, то с русским андеграундом все равно сравниться не может. Особенность русского андеграунда состоит в том, что ниже и гаже, чем падают люди здесь и опускаются в самые последние туннели земли, не падают и не опускаются они нигде. Здесь уж если человек упал, и опустился под землю, то не поднимется наверх никогда. Здесь если уж кого втоптали добровольно или насильно в грязь, то так и оставят в этой грязи навсегда. У нас ведь все особенное, и морозы особенные, и расстояния самые большие в мире, так что мировой андеграунд – это и есть наш родной, отечественный андеграунд, и мы в этом опять впереди планеты всей. Потому что так, как унижают человека у нас, не унижают его нигде, и так, как оскорбляют здесь, не могут уже оскорбить ни в каких других странах земли. Поэтому философом, выдумавшим философию андеграунда, может быть только русский, и никакой другой француз, поляк, или, допустим, житель острова Борнео. Ну скажите, о каких глубинах падения может вам поведать житель острова Борнео, что он интересного может вам рассказать? Да и француз с поляком тоже не могут рассказать вам ничего интересного, а уж тем более выдумать философию андеграунда. Потому что никто не одинок так в своем отечестве, как одинок здесь русский человек, который потерялся среди своих необъятных степей, словно сброшенный деревом засохший листок, до которого никому нет дела, да так и летит в никуда, под хохот и шепот злой и враждебной толпы. Который увяз в своей вечной мерзлоте, превратившись в умершую миллионы лет назад букашку, и ее навряд – ли рассмотрит под микроскопом профессор будущего. Неинтересна эта букашка профессору будущего, слишком в глубоких слоях снега и льда лежит она, чтобы он соизволил обратить на нее свое внимание. Да и неинтересна профессору будущего философия андеграунда, потому что он воображает, что будет вечно жить наверху, а потому рассуждения о жизни внизу ему не понадобятся. Возможно, что именно так все и будет, и этот профессор будущего благополучно закончит свою жизнь под солнцем, гуляя по дорожкам земли, посыпанным желтым песком, и обсаженным по бокам зеленой травой, написав тысячу научных статей, и опубликовав не менее двадцати пяти увесистых монографий. Мне, по крайней мере, с таким профессором не по пути, поскольку мы живем с ним в разных мирах, и мироощущения у нас совершенно разные. У мокрицы, живущей в щели, и у преуспевающего профессора будущего совершенно разные мироощущения и совершенно разные картины мира. Мокрица считает, что вселенная состоит из бесконечных туннелей, в которых обитают мокрицы, тараканы, сороконожки и пауки, а все, что сверх того – это враждебный космос, населенный метеоритами, кометами и раскаленными солнцами, излучающими радиацию и несущими смерть всему живому. Профессор же уверен, что вселенная наполнена миллионами разумных миров, которые населены мириадами разумных существ, а обитающие в щелях мокрицы, сколопендры и тараканы – это позор человечества, который стыдно показывать братьям по разуму. Разные картины мира у профессора и у мокрицы, и разные у них философии, но мне, если честно, философия профессора глубоко безразлична и глубоко чужда, мне гораздо ближе моя философия мокрицы, которая если и не оправдывает мою подземную жизнь, то, по крайней мере, позволяет мне под землей выжить. Я уже в тридцать лет, когда окончательно понял, что навсегда опущен под землю, начал разрабатывать свою философию андеграунда. Философию бесконечно одинокого в толпе существа, которое проходит в этой толпе, словно бесплотная тень, абсолютно никому неинтересное и абсолютно никем невидимое. И которое, тем не менее, испытывает такую вселенскую гордыню от этого своего вселенского одиночества, что она поднимает его над толпой, словно летящую к звездам ракету. Превращая эту толпу в сборище спешащих куда-то мелких букашек, таких же мокриц, тараканов и пауков, каким оно было еще минуту назад. Я еще тогда, в тридцать лет,

понял очень отчетливо, что только благодаря гордыне я могу поменяться местами с другими людьми, и поместить их самих в андеграунд, а самому подняться наверх, навстречу солнцу, свету и зеленой траве. Вот вам первый парадокс философии андеграунда – чем выше твоя гордыня, тем легче тебе переносить одиночество, а также презрение ближних твоих, тем легче тебе чихать на их презрение. Ибо это презрение обитающих в щелях мокриц, тараканов и пауков, которые тебе глубоко отвратительны, и которых ты в любой момент можешь отравить дустом, или даже плеснуть на них кипятком. Да, именно тогда, четырнадцать или пятнадцать лет назад, когда мне было еще около тридцати, я вдруг понял, что раз уж я навсегда опущен под землю, то надо лелеять и холить свою гордыню, как ту единственную щепку, как ту единственную соломинку, за которую ты способен вцепиться, и выжить, несмотря ни на что. Поняв это, я тотчас же постарался исследовать, лелеют ли и холят свою гордыню мои соседи по подземелью, обитающие в соседних туннелях, и сразу же обнаружил, что это действительно так. Что все они исполнены невероятной гордыни, которая одна и помогает им выжить среди равнодушной, бредущей через них в никуда толпы. Мы, то есть я и мои соседи по подземелью, были незримо для всех погружены во тьму, хотя и брели вперед сквозь равнодушную к нам толпу, проходящую по освещенным солнцем улицам и площадям. Мы были тьмой среди света, которая была неотделима от света, и без которой он не мог бы существовать. И тогда я задал себе вопрос: а зачем Господь создал тьму? Ведь Он мог бы сразу создать свет, несущий смысл и благодать всем тварям вселенной. И, тем не менее, Он сначала создал тьму, а уже потом осветил ее своим Божественным светом. И меня вдруг осенило, меня вдруг словно ударило током понимания, прозрения и удивления: да ведь Господь не создавал тьму, Он просто сам находился во тьме, будучи погруженным в андеграунд, и долго рыл землю в своем туннеле, ища из него спасительный выход. Ища свет в конце туннеля, который и стал тем Божественным светом, осветившим в итоге всю землю. И я вдруг понял, что Господь тоже был обитателем андеграунда, тоже, как и я, был унижен и оскорблен, и Его выход наверх, навстречу солнцу, свету и счастью, был выходом к свободе из царства несвободы, гордыни и бесконечного одиночества. Я понял, что Господь был так же одинок и заброшен, как и я сам, как и мои случайные товарищи по подземелью. Я вдруг осознал, что Его сжигала такая же вселенская гордыня, которая сжигала меня, и что Он родной брат мне, жалкой мокрице, обитающей от века в своей жалкой щели, и не имеющей возможности оттуда подняться. Это открытие ошеломило меня, и заложило основы моей философии андеграунда. Я вдруг понял, что андеграунд – это первично, а ваша жизнь наверху – это вторично. Я вдруг осознал, что моя несвобода появилась раньше вашей свободы, и, следовательно, является большей свободой, чем то, что считаете свободой вы. Что мое одиночество и моя отверженность первичны, а ваши дружбы, любви, преданности, самоотверженности и чувство долга – вторичны. Что мы родные братья со Христом, роющие во тьме во имя поиска истины, и что рождение вашего мира – это всего лишь случайный выход на поверхность Спасителя, который вы считаете началом начал, тогда как это всего лишь маленький эпизод в Его и моем пути к личной свободе. Что на нашем с Ним пути к личной свободе необходим андеграунд с его мокрицами, сороконожками и пауками, необходима гордыня и вселенская отверженность, без которых не будет выхода наверх, и, следовательно, не будет свободы. Что философия андеграунда – это философия свободы, а все ваши философии – это философии рабства. Что сам Господь Бог одобрил мой андеграунд, населенный мокрицами и тараканами, а также разнообразными ужасами, рассказать о которых я могу только лишь вскользь и частично. Настолько они противоестественны и страшны с точки зрения так называемого нормального человека. Настолько они противоестественны и страшны с вашей, господа, точки зрения. Но этот страх и эта противоестественность с точки зрения философии андеграунда первичны, а ваша якобы нормальная жизнь – глубоко вторичны. И, следовательно, они имеют право на существование, как имеют право на существование эти заметки, читать, или не читать которые – ваше личное дело. Мне все равно, будете вы их читать, или нет, но если

все же будете, то не очень ужасайтесь, потому что все, что случилось со мной, могло случиться и с вами. Или случится в будущем. Или уже давно случилось, да только вы это искусно скрываете. А сами точно так же, как и я, обитаете в андеграунде, мучительно ища выход наверх, не понимая того, что вы никогда его не найдете. Не понимая того, что, ища этот выход, вы остаетесь свободными, а, найдя его, превращаетесь в жалких рабов. Что, обитая внизу, в подземелье, среди мокриц, тараканов и пауков, вы остаетесь родными братьями Христу, а выходя наверх, попадаете в объятия сатаны. Что Христу люб андеграунд, что Он давно уже благословил и оправдал те ужасы, которые творятся в нем, и давно уже проклял ту тихую и слащавую жизнь, вместе с теми оптимистичными и слащавыми идейками, которые находятся наверху. И, напоследок, господа, не забывайте, что андеграунд не только позволяет вам жить наверху, но и привносит смысл в эту вашу верхнюю жизнь, без которого, возможно, она бы вообще не существовала. Ваше существование, господа, оправдано лишь нашими ужасами, оправдано лишь мокрицами и тараканами, которых Господь создал для того, чтобы вы могли жить на земле.

Глава четвертая

В этих записках я не собираюсь затрагивать тему своего детства, ибо оно к тому, что я пишу, никакого отношения не имеет. Мое детство – это мое детство, и все, что в нем было, останется только со мной. Также не собираюсь я делиться ни с кем событиями своей ранней юности, потому что они тоже неинтересны никому, кроме меня. Пусть все это останется тайной, пусть все это будет покрыто мраком, и прожектор заинтересованного читателя высветит меня уже двадцатилетнего, появившегося в Москве, и пытающегося завоевать эту надменную столицу, с каким-то потайным ужасом чувствующего, что это мне не удастся. Что до меня тысячи таких же наивных, горящих честолюбием юнцов из провинции (признаюсь уж, что я из провинции) пытались завоевать Москву, и утвердить здесь штандарт своего баснословного успеха, а потом благополучно и тихо сходили на обочину, и уже через малое время о них никто даже не вспоминал. А следом за ними на покорение Москвы спешили другие, такие же честолюбивые, смелые и ражие, горящие любовью к Отечеству и к этому славному городу, забывая, или попросту не зная о том, что Москва не верит слезам. Забывая о том, что Отечество еще в большей мере не только не верит слезам, но даже глубоко презирает эти наивные и жалкие слезы. Что Отечество вообще презирает все наивное, возвышенное и смешное, и уважает всего лишь силу, способную прийти, и взять то, что плохо лежит, или даже принадлежит кому-то другому. Впрочем, повторяю еще раз, я не собираюсь здесь описывать ни откуда я родом, ни кто мои родные, и по какой причине в двадцатилетнем возрасте я оказался в Москве. Примите как факт, что я просто там оказался, полный наивных и смутных дерзаний, полный мечтаний, а также различных фантастических прожектов, которые уже тогда время от времени окатывались холодным душем предчувствий того, что у меня ничего не получится. Ибо уже тогда я отчетливо сознавал, что я не такой, как все, что я другой, что я отверженный, и что все мои высокие идеи, мечты и фантазии навряд – ли найдут понимание у остальных, нормальных, и прочно стоящих на земле людей. Но я еще во многом был тогда неопытен и наивен, я еще верил в свои мечты, фантазии и надежды. Хотя уже и со смутным страхом подозревал, что все это пустое, и меня ожидает совсем иная судьба. Кое-что из того, что со мною произошло с тех пор, я попытаюсь изложить в этих записках, которые прежде всего пишу для себя, а уже потом для других. Я, кстати, давно уже не живу в Москве, меня отделяет от Москвы ровно сто один километр. Именно на такое расстояние переместился я от той надменной столицы, которую когда-то мечтал покорить. Я сейчас скромный служащий, и получаю совсем небольшое жалование, которого, однако, при моих скромных запросах вполне хватает на жизнь. У меня уже не те запросы, которые были когда-то, я даже уже не пью и не курю, хотя в молодости и пил, и курил, и на себя не трачу почти ничего, разве что покупаю бумагу, на которой можно бы было писать. Без бумаги и без чернил, как образно я называю те шариковые ручки, которыми пишу, мне уже не прожить. За те двадцать четыре года, что прошли с тех пор, как я впервые приехал в Москву, и до нынешнего дня, произошло очень многое, но оно абсолютно не повлияло ни на меня, ни на тех, кто находится под землей рядом со мной. Для того, кто находится в андеграунде, абсолютно не важно, какой режим сейчас наверху, и какая идеология тех, кто живет среди солнца, света и зеленой травы. Также никакая революция и перестройка не влияют на климат глубокого подземелья, как не влияют шторма и бури на поверхности океана на тишь и мертвенную гладь тихого океанского дна. Бесцветная креветка, живущая под страшной толщей воды, держится всего лишь своей гордыней, которая одна и позволяет ей выдерживать тяжесть всей этой огромной водной стихии, а также того мира, который находится на континентах земли. Ни революции, ни перестройки ровным счетом не влияют на гордыню обитателя андеграунда, они для него ничто, их словно бы и не было вовсе, как не было их для меня. Я все эти революции и перестройки пережил совершенно спокойно, с тихой и презрительной улыбкой на своих

тонких губах (тонкие губы – это образное выражение, я вообще не знаю, какие у меня губы, ибо не люблю смотреть в зеркало). Моя гордыня позволила мне их пережить. Без гордыни я бы не смог этого сделать. Вы спросите: как же родной брат Христа может спастись одной лишь гордыней, ведь Христос – это смирение, Христос и гордыня – две вещи несовместные? На это я отвечу так: а что вы вообще знаете о Христе? И всю ли правду о Нем вы знаете? И если действительно наш мир и свет, освещающий его, появились лишь тогда, когда Господь прорыл, наконец, свой вечный туннель, и выглянул из него наружу, если все действительно так, то и Он мог спастись в своем туннеле гордыней. И даже определенно спасался гордыней, потому что это единственная пища, не считая, разумеется, подземных акрид и меда, которыми можно под землю питаться. Я под землей питался гордыней, и Господь под землей тоже питался ей, ибо иначе целую вечность рыть свой туннель Он бы не смог. Это на земле, господа, среди солнца, света и зеленой травы, необходимы смирение и любовь к ближнему своему, а под землей, в андеграунде, необходимы гордыня и ненависть к подобным тебе. А если и не ненависть, то, по крайней мере, презрение и ядовитая улыбка на бледных и саркастических губах Творца. Или на моих бледных или саркастических губах, хотя я, как уже говорил, не люблю смотреть в зеркало, и какие у меня губы, знаю только лишь приблизительно. Может быть, они у меня и не бледные, и даже не тонкие, но то, что саркастические, это уж точно. Я весь буквально сверху донизу пронизан и пропитан сарказмом. Я, можно сказать, сосуд с сарказмом, как бывают сосуды с елеем, или с чудесными благовониями, а я с сарказмом, который, возможно, не менее чудесен и редок. Потому что воспитывал я и развивал в себе его почти что четверть века, с первого своего дня появления в Москве, и до сего мгновения, когда я пишу эти слова. На сто первом километре, знаете, без сарказма, да без гордыни не проживешь, тут вокруг почти все такие, и особой любви к ближнему своему я вокруг почему-то не вижу. Вот сейчас мне надо идти на работу в свою контору (я работаю в одной коммунальной конторе, или служу в одной коммунальной конторе, можно сказать и так), и заранее представляю лица своих сослуживцев, все сплошь с тонкими саркастическими губами, и все до одного помеченные печатью ненависти к ближнему своему. Я работаю в этой конторе уже лет пять или шесть, и, если честно, до сих пор не знаю, чем я там занимаюсь. Впрочем, все остальные, и в первую очередь начальник конторы, тоже не знают, чем они там занимаются. Все это чрезвычайно удобно и для них, и для меня, и в первую голову для меня, потому что можно вообще не ходить на работу, и целыми днями предаваться своим раздумьям, а также литературным занятиям, которые мне чрезвычайно нравятся. Эти мои записки вовсе не первые, у меня много подобных записок, в которых я обращаюсь к воображаемому читателю, и веду с ним неторопливую беседу. Я все надеюсь, что у меня будет читатель, что я опубликую свои записки хотя бы за свой счет отдельной брошюрой, и отдам ее в какой-нибудь газетный киоск, чтобы ее могли прочитать хотя бы два, или три человека. В газетных киосках иногда работают весьма образованные люди, и с некоторыми из них можно беседовать на отвлеченные темы. А еще лучше беседовать с читателями, и не с отвлеченными, а живыми. Настоящий писатель – это тот, у кого есть читатели. Я надеюсь, что и у этих моих записок тоже будут читатели, если я решусь издать их отдельной брошюрой, и разместить в каком-нибудь газетном киоске. Впрочем, вполне возможно, что это всего лишь мои мечтания.

Глава пятая

Я, кажется, уже говорил, что Москва не верит слезам. Впрочем, выражение это весьма расхожее, и о нем всем известно. А ведь если вдуматься, то означает оно страшную вещь, о которой почему-то не принято говорить вслух. Не принято, господа, говорить вслух, что столица огромного государства относится к своим гражданам, как к чужакам, как к чужим, как к отверженным, и не прощает им ни одной, даже самой ничтожной, ошибки. Где вы найдете такого человека, говорится в Евангелии, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит у него рыбы, подал бы ему змею? А ведь Москва так и поступает по отношению к своим сыновьям, становясь для них не матерью и не отцом, а совершенно чужим человеком, чуть ли не бандитом с большой дороги, притаившимся в кустах, и держащим в руках острый нож! И как же это не похоже, господа, на то, что происходит в столицах других государств! И как же это унижает и принижает простого русского человека, который не сумел перегрызть горло другим, который не сумел выплыть в бурных волнах Москва – реки, который не выдержал конкуренции, и поневоле должен опуститься на дно. Или даже ниже уровня дна, став обитателем андеграунда! Потому, господа, я и говорю, что наш русский андеграунд особенный, что он один такой среди всех других андеграундов мира, среди всех других подземелий земли. Наш андеграунд, господа, начинается наверху, и уже потом постепенно, а иногда и сразу, и очень круто, идет вниз под землю. Наш андеграунд заранее закодирован нашей повседневной русской жизнью, он заранее известен, и его заранее следует ожидать. Заранее известно, господа, что Москва не верит слезам, и что из тысяч и миллионов благородных, горящих честолюбивыми помыслами юношей, спешащих на ее покорение, только лишь некоторые добьются успеха. Только лишь некоторые останутся на плаву, и смогут там выжить, а все другие опустятся вниз. И не только в Москве так происходит, но и вообще во всем Отечестве в целом, которое тоже, как и Москва, не верит слезам. Которое тоже так же жестоко, как и она, и заранее еще, возможно даже, что до рождения человека, опускает его вниз, в мрачные катакомбы. Россия страна мрачных катакомб и непрерывного андеграунда, господа, и вы должны в этом со мной согласиться! А все эти ваши идейки о чести и достоинстве человека, о любви к Отечеству и о самопожертвовании во имя Родины оставьте лучше наивным юношам. Которые еще верят в сладкие сказки, и не догадываются о том, что очень скоро они тоже окажутся под землей, в андеграунде, и будут ходить там с факелами и свечами, днем с огнем разыскивая человека, да только не смогут его найти. Вот вам и философия русского андеграунда, господа, вот вам и широкая панорама всей нашей русской жизни! Россия, господа, это страна, опущенная под землю. Большая часть жизни в ней находится под землей, а на поверхности торчит лишь верхушка, увенчанная яркими кремлевскими звездами, подобно верхушке у айсберга. И философия русского андеграунда, господа, отсюда, должна строиться на признании того неоспоримого факта, что Россия находится под землей, что она сама и есть страна андеграунда, что в ней днем с огнем нельзя найти человека, и что на поверхности у нее, словно у айсберга, для отвода глаз торчат пять или шесть звезд на башнях Кремля, и умильно мигают своим искусственным рубиновым светом. И каждый в этой стране, дорогие мои, бредет во тьме наугад, натываясь на углы, подземные повороты, а иногда и на подземные реки, падая, и обдирая в кровь колени и руки. И до последнего часа все на что-то надеясь, гоня от себя страшную мысль о том, что надеяться ему не на что. Что наверх он уже никогда не выберется, и единственное оправдание его бесконечных скитаний по подземелью – это то, что рядом, в соседнем туннеле, точно так же идет куда-то Христос. Точно так же бредет наугад Христос, держа в руке небольшую свечечку, и днем с огнем ища человека. И когда Он этого человека находит, то со слезами на глазах обнимает его, и забирает с собой на небо. Вот философия нашего русского андеграунда, господа: мы все люди, избранные Христом, и бредем в темноте, ища себе

подобных, страстно желая выбраться на поверхность. Да только не получается это ни у кого, кроме разве что единиц, которые живут наверху, и считают себя избранными, обитающими среди солнца, света и зеленой травы. Но на самом деле это не так, на самом деле солнце, свет и трава находятся под землей, а то, что наверху, – это мерзость, противная Богу. Вот почему на Руси всегда почитались упавшие и гонимые, вот почему здесь всегда почитались юродивые, нищие и калеки, и осуждались князья да бояре, живущие в белоснежных палатах и роскошных дворцах. Происходило же это потому, господа, что андеграунд давно уже проник во все щели и поры нашей российской жизни, что он стал самой нашей российской жизнью, что он и есть на Руси сама жизнь. А то, что сверх этого – от лукавого, в том числе и те, что живут наверху. Вот почему, господа, русский андеграунд угоден Богу, и вот почему мой личный андеграунд угоден Ему. Со всеми его ужасами, любовью и ненавистью. Со всеми глубинами моего личного падения, о многих из которых даже вслух нельзя рассказать, а не то, что занести на бумагу. Ну да и Бог с ними, не буду о них рассказывать, расскажу лишь о тех, что смогу. А о тех, что не смогу, промолчу, и оставлю в себе. Вот такова, господа, вкратце моя философия нашего русского андеграунда, и такова моя личная философия. За годы жизни внизу я стал заядлым философом, давно уже переплюнувшим и Гегеля, и Спинозу, и могу рассуждать о философии андеграунда практически до бесконечности. Но не хочется мне вас слишком загружать философскими изысканиями, и самое время рассказать что-то конкретное, обратившись к фактам моей личной жизни.

Глава шестая

В двадцать лет, как уже говорил, я впервые попал в Москву, приехав сюда из провинции. Откуда именно, я сообщать не буду, ибо начинаю это повествование именно с момента своего появления в Москве. Скажу лишь, что со своей семьей я решительно разорвал все отношения, и по этой причине был лишен какой-либо материальной поддержки. Ввиду этого я отчаянно нуждался в деньгах, и если бы не моя дальняя родственница, у которой я временно остановился, умер бы, наверно, от голода. Это была еще довольно молодая особа, лет около тридцати пяти, хотя я тогда считал ее древней старухой, которая не понимала, откуда я взялся, и смотрела на меня, как на бедного родственника, очень тяготясь моим присутствием. Впрочем, я тоже тяготился жизнью у нее, ведь я на самом деле был самым настоящим бедным родственником, седьмая вода на киселе, приехавшим в Москву из далекой провинции, откуда, между прочим, она тоже в свое время приехала. Но к своим тридцати пяти годам моя родственница успела уже прочно обосноваться в Москве, работая переводчицей в каком-то военном институте. У нее были ухажеры из числа сослуживцев, которых она не могла привести из-за меня домой, и по этой причине злилась чрезвычайно, постоянно стуча посудой на кухне и роняя на пол различные вещи. У меня не было никаких планов относительно того, что же я буду делать в Москве, я просто решил для себя, что должен приехать в Москву, сел в поезд, и за несколько дней приехал сюда. Я уже довольно давно порвал со своей семьей, и был очень бедно одет, можно даже сказать, что износился чрезвычайно. Брюки на коленях у меня пузырились, башмаки были стоптанные и оборванные, а рубашка прорвана в нескольких местах, и очень неумело зашита. Кроме того, я был чрезвычайно худ, бледен, а на щеках у меня из-за плохого пищеварения и из-за постоянного нервного напряжения горел лихорадочный румянец. Некоторые считали, что это туберкулезный румянец, и не хотели сидеть со мной в транспорте. Но я, когда видел таких людей, начинал им терпеливо объяснять, что это не туберкулезный румянец, что туберкулезом я еще никогда в жизни не болел, хотя в будущем, при моем образе жизни, почти наверняка заболею. Но мои объяснения действовали на людей еще хуже, как если бы я не говорил им вообще ничего. У некоторых при моем виде и моих объяснениях начиналась истерика, а некоторые даже начинали кричать, что выведите из транспорта этого туберкулезника. Иногда такая сумятица начиналась, что транспорт останавливался, и потом многие не могли в течение долгого времени успокоиться. Мне это даже доставляло определенное удовольствие, и я даже испытывал некоторую гордость от того, что внес в размеренную жизнь этих людей такое беспокойство и такую сумятицу. Родственница моя, когда впервые меня увидела, тоже, очевидно, решила, что я туберкулезник из провинции. Я, кстати, ко всему своему дикому виду и плохой одежде, очень сильно зарос, так как экономил деньги, и не ходил к парикмахеру. Волосы обычно торчали у меня в разные стороны, и я нарочно их не причесывал, решив, что раз я дико выгляжу и так пугаю людей, то пусть все так и будет. Но в своей дальней родственнице я все же нуждался, ибо без нее мне бы негде было жить, и я бы, как уже говорил, умер от голода. Поэтому я при первой же встрече терпеливо ей объяснил, что я вовсе не туберкулезник, а просто так плохо выгляжу из-за плохого пищеварения и постоянных нервных нагрузок. Но она, по-моему, мне не поверила, и все то время, что я у нее жил (а жил я у нее два, или три месяца), постоянно все в квартире дезинфицировала, протирая водкой телефон и дверные ручки. Кроме того, как уже говорилось, я мешал ей приводить домой кавалеров, которые часто звонили, и представлялись по телефону, то как лейтенант такой-то, то как майор такой-то, а то даже как подполковник. Один такой не то лейтенант, не то подполковник мне по телефону все объяснил, сказав, что только благодаря порядочности Евгении (так ее звали) я и живу у нее. Впрочем, все эти пьяные, а также трезвые разговоры ее ухажеров были мне до лампочки, ибо я хорошо видел причины, по которым они ей звонили. Им просто была нужна ее квар-

тира, находящаяся в центре Москвы в очень престижном месте. Живя у своей родственницы, я пользовался очень большой свободой, уходя, когда мне заблагорассудится, и приходя домой в любое время дня и ночи. Евгения, кстати, предложила мне одежду одного из своих бывших поклонников, очень чистую и почти что новую, и совершенно новые туфли, но я от всего этого отказался, сказав, что и так получил от нее слишком много. Но так как она настаивала, говоря, что нельзя позориться в таком рванье, как у меня, и даже один раз пыталась это рванье выбросить в мусоропровод, я согласился принять одежду ее бывшего ухажера, однако не сразу, а через определенное время. Я объяснил, что не могу слишком резко менять свои привычки, и мне необходим срок, чтобы адаптироваться к Москве, а также привыкнуть к новой одежде. Она сразу же согласилась, видя, что спорить со мной очень трудно. Одной из причин моего нежелания ходить в новой одежде, которую я ей не назвал, была та, что одежда эта была полувоенная, а я не любил ни военных, ни военщину, у меня были на то свои причины. Евгения, ко всему прочему, дала мне ключ от квартиры, а также ежедневно выдавала деньги на метро и на мелкие расходы, что было чрезвычайно кстати, так как своих денег у меня не было. Она уходила из дома в свой институт рано утром, и приходила поздно вечером, а иногда вообще отсутствовала несколько дней, и это означало, что она ночевала у кого-то из своих ухажеров. Но я не испытывал по этому поводу никаких мук ревности, поскольку она мне не нравилась, как женщина, и, более того, я вообще считал ее древней старухой. Тридцать пять лет для женщины мне казались тогда предельным сроком, после которого должна наступить смерть. Поэтому, получив свободу и наличные деньги, я тратил все это на исследование Москвы, и, в частности, на исследование московского метро. Особенно мне нравилось исследовать метро. Это была для меня совсем новая область, поскольку в провинции, откуда я приехал, о метро мало что знали.

Когда я говорю, что решил исследовать московское метро вдоль и поперек, это вовсе не значит, что такое исследование доставляло мне большое удовольствие. Вполне возможно, что кому-то другому, какому-то иному молодому человеку, приехавшему из провинции покорять Москву, поездки в метро действительно были бы приятны. И его желание исследовать эти подземные, сияющие великолепием дворцы, было бы вполне законным и понятным. Более того, вполне возможно, что мне самому очень хотелось покататься в тиши в метро, и почувствовать себя хотя бы немного москвичом, от чего, кстати, я бы не отказался. Но все дело в том, что это было решительно невозможно из-за моего дикого вида и от того чувства недоумения и даже страха, которые я вызывал в людях. Люди в метро смотрели на меня во все глаза, не понимая, кто я такой, и как меня сюда пропустили бдительные контролеры. Моя бедная, частично зашитая, а частично запачканная одежда, мои рваные башмаки, мои горящие огнем щеки и торчащие в разные стороны волосы пугали их чрезвычайно. Прибавьте сюда мою худобу и мою бледность (щеки у меня горели на совершенно бледном лице), и вы поймете, насколько же я сильно отличался от всех остальных пассажиров. Все остальные были нормальными, и лишь один я ненормальным, бросающим вызов остальному, добропорядочному, или просто желающему быть добропорядочным, обществу. И ведь я не старался проскочить в метро украдкой, я не пытался быстро доехать до своей остановки, и сразу же выбраться наружу. Я именно сознательно бросал людям вызов, понимая, что я делаю это осознанно, и что этим вызовом оскорбляю их, и даже начинаю против них враждебные действия. Люди не могли стерпеть в метро такого уродца, как я. Они могли стерпеть кого угодно: бродягу, нищего, или калеку, которых в метро немало, но наглеца и уродца, бросающего им вызов своим странным видом, стерпеть не могли. Было чрезвычайно трудно выносить их неприятие, их враждебность и их презрение, особенно презрение, ибо многие сразу же начинали меня презирать, защищаясь этим от моего вызова, и от моей перчатки, брошенной им в лицо. Единственное, что я мог им противопоставить, это свою гордыню, ибо уже тогда с исключительной ясностью понял, что лишь гордыня поможет мне сносить их враждебность и их презрение. Гордыня была единственным оружием, которым я мог от них защищаться, ибо иного оружия у меня попросту не было. У них была их

сытость, их уверенность в себе, их добропорядочность и их благонадежность, а у меня только моя гордыня. И я начал воспитывать и развивать в себе эту свою гордыню, вдруг неожиданно поняв, что и дальше в жизни сносить презрение, усмешки и ненависть людей мне поможет только она. Что если сейчас в метро я не воспитаю и не взращу в себе космическую гордыню, то нет смысла жить дальше, ибо точно такие же ситуации будут у меня в жизни повторяться до бесконечности. И поэтому я сидел в метро на своем месте, в своих стоптанных башмаках, в своей наскоро зашитой одежде, со своими горящими ярким огнем щеками и торчащими в стороны отросшими волосами, и презрительно улыбался. Да, я презрительно улыбался, давая всем понять, что мне абсолютно все равно, что обо мне думают окружающие. Что мне на них глубоко начхать и глубоко наплевать, что я сам по себе, и не имею к их правильному, верхнему, освещенному солнцем и светом миру, ровным счетом никакого отношения. Что у меня мой собственный, личный, подземный мир, и он крепко-накрепко защищен от их верхнего мира моей космической гордыней. Это было началом погружения в андеграунд.

Глава седьмая

Итак, я начал исследовать московское метро, а также возвращать свою космическую гордыню, осознав необыкновенно отчетливо, что это единственная защита, которая есть у меня от враждебного мне мира людей. Что для кого-то другого мир людей добрый и ласковый, напоминающий журчание ручьев, шелест теплого ветра, или лучи яркого летнего солнца, а для меня он враждебный, и чтобы мне в нем выжить, я должен пользоваться совсем особым оружием. У других людей были их таланты, была щедрость души, широта взглядов, дружелюбие, преданность идее и любовь к ближним своим, а у меня была только моя гордыня. Но вы не представляете, насколько же сильным оружием она оказалась! Я это понял сразу, катаясь в метро из одного конца города в другой, и пристально глядя на сидящих напротив меня людей. Я сразу же научился глядеть на них насмешливо и сердито, небрежно раскинувшись на сидении, хотя внутренне весь был собран и сжат, словно стальная пружина. От этого внутреннего напряжения щеки мои еще больше горели, а люди еще больше ужасались и негодовали, глядя на мой страшный облик. Некоторые, правда, ужасались и негодовали молча, сдерживая себя, и делая вид, что все увиденное их не касается. Некоторые же негодовали открыто, делая мне замечания, и даже вступая со мной в молчаливую дуэль. Эта дуэль состояла в том, что они молча и презрительно глядели мне прямо в глаза, а я так же молча и презрительно глядел на них, улыбаясь одними лишь углами своего тонкого рта. Рот у меня от худобы, хотя Евгения и старалась меня откормить, был очень тонок, и это придавало всему моему облику еще больше наглости и даже дерзости. Несколько людей в течение дня обязательно вступали со мной в молчаливый поединок, стараясь пересмотреть и переиграть мою гордыню своей правильностью и добропорядочностью. Глупцы, они не знали, что их правильность и добропорядочность ничто перед моей гордыней, а также перед гордыней вообще, которая, как я понял позже, вообще одна из самых сильных страстей на свете. Мало на земле есть страстей более сильных, чем гордыня, разве что ненависть, или зависть, да и они зачастую уступают гордыне по глубине и накалу эмоций. А эмоции у меня в душе кипели такие, что я был похож на паровой котел, который перегрелся до такой степени, что был готов вот-вот взорваться. Однако каждый день в вагонах метро находилось два или три человека, которые были готовы пожертвовать всем, лишь бы одержать надо мной моральную победу. Они готовы были даже опоздать на работу, отказаться от свидания с любимым человеком, или даже пожертвовать своей жизнью, лишь бы доказать мне, что их страсти и их эмоции более чисты, более благородны, и, следовательно, более сильны, чем мои. Они часами сидели в вагоне напротив меня, переезжали из одного конца города в другой, пересаживались вместе со мной на другие линии, и вели молчаливый поединок, неотступно глядя мне в глаза. Глупцы, они даже не подозревали, что ими движет все та же гордыня, что и мной, только с противоположным знаком! Помню, один седенький и очень правильный старичок ездил со мной целый день, и все смотрел мне в глаза, пытаясь этим своим взглядом смутить, и даже сломить мою личную гордыню. Но сил у него оказалось маловато, и кончилось все сердечным приступом, и вызовом в метро бригады скорой помощи. Когда его проносили со станции на носилках, он тянул ко мне свою худую старческую руку, и все силился что-то сказать. Думаю, ему мерещились подвиги минувшей войны, и взятие какой-нибудь безымянной высоты, во время которого погибли все, кроме него. Он и не подозревал, что выжил только лишь для того, чтобы через сорок пять лет вступить в сражение со мной, и героически пасть в этой неравной битве, присоединившись к своим давно погибшим товарищам. Также помню одного молодого мужчину, который считал, что раз он физически сильнее меня, то может одержать победу в моральном поединке со мной. Я на своем веку повидал уже немало таких мужественных красавцев, таких Шварценеггеров и Рэмбо, из которых их мужественность прямо изливается на землю, словно желание из взбесившегося мартовского кота.

Эти мужественные красавцы носили на себе целую гору мышц, но в голове у них мало что было, и по этой причине они в итоге проигрывали свои самые главные сражения на земле. Так было и с этим красавцем, которого я взбесил своим страшным видом и своей презрительной улыбкой, застывшей в углах моего тонкого и бледного рта. Он, вне всякого сомнения, опаздывал на свидание с какой-нибудь московской студенткой, каких у него, очевидно, набрался уже целый гарем, но принял решение пожертвовать удовольствием для того, чтобы как следует наказать меня. Пересмотреть меня ему не удалось, еще и потому, что был час пик, и в вагоне стояло много людей, которые мешали нам смотреть друг другу в глаза. Надо сказать, что многие, устраивавшие со мной в метро молчаливые дуэли, пользовались этой возможностью, и тихо покидали вагон, понимая, что ситуация зашла слишком далеко, и что переиграть меня им не удастся. Но не таков был мой красавец! Он был зол на меня за то, что не встретился сегодня с очередной своей обожательницей, и решил отыграться на мне по полной программе. Проехав до конца очередной линии, он вышел следом за мной из вагона, и, схватив за рукав, быстро потянул в самый конец платформы, где не было ни души, и где ему хотелось провести со мной воспитательную беседу. Было совершенно очевидно, что такие воспитательные беседы он проводил еще в школе, избивая своих более слабых товарищей, а потом во дворе дома, где считался первым красавцем, и где дворовые девицы пачками вешались ему на шею. Затащив меня в дальний конец платформы, и усадив на скамейку, он зашептал мне в ухо тихо и зло:

– Издеваешься над людьми, щенок, считая всех ниже себя, хотя на самом деле ты хуже всех, и таких гадов, как ты, надо давить, словно омерзительных тараканов!

– Отпустите меня, дяденька, – плаксиво отвечал я ему, – я вам ничего не сделал, зачем вы хватаете меня за рукав?

– Я тебя, щенок, сейчас не только за рукав схвачу, – закричал он уже громче, потеряв контроль за собой. – Я тебе сейчас так больно сделаю, что ты запомнишь этот урок на всю жизнь! Сейчас ты поймешь, что значит издеваться над людьми, и считать их ниже себя!

И он коротко и очень сильно ударил меня в бок, так что в глазах у меня потемнело, и я на секунду даже потерял сознание.

– Не трогайте меня, дяденька, – закричал я, – у меня туберкулез, и мне осталось жить очень мало. Отпустите меня, пожалуйста, я больше не буду ездить в метро, и издеваться над людьми, словно я самый умный, а они все дураки!

– А мне плевать, что ты туберкулезник, и что тебе осталось жить очень мало, – уже на всю станцию закричал этот Рэмбо. – Я тебя сейчас сам убью, и брошу вниз на рельсы, так что от тебя останется через минуту одно мокрое место!

После этого он опять ударил меня в бок, так что я упал на гладкий пол станции, ударившись головой, и потеряв на мгновение сознание, а изо рта у меня пошла белая пена. Я ощутил на губах вкус этой пены, и сразу же понял, что она белая, и еще чуть-чуть подкрашена моей красной кровью. Позже я научился пускать такую подкрашенную кровью пену, за что всегда был благодарен этому московскому Рэмбо, решившего поучить уму – разуму наглого и зарвавшегося юнца. Что произошло дальше, я не очень хорошо понимаю до сих пор. Видимо, мой вид, вид лежащего на полу юродивого, пускающего изо рта белую, подкрашенную кровью пену, был так страшен, и вызвал в голове моего обидчика такие противоречивые чувства, что он инстинктивно отшатнулся от меня, сделал несколько шагов назад, и упал на рельсы прямо перед подъезжающим к станции поездом. Его предсмертный крик был так страшен, что услышали его, очевидно, на всех станциях и во всех вагонах метро. Дальше же было все очень просто. Сразу же появилась милиция и санитары, меня отвели в медпункт, дали успокоительного, умыли лицо, почистили, и отпустили домой, сунув даже в карман небольшую пригоршню мелких монет. Милиции я сказал, что приехал из провинции поступать в институт, что, кстати, было почти что правдой, и что живу временно у своей родственницы. Они позвонили Евгении,

и та все подтвердила. На вопрос, видел ли я мужчину, упавшего на рельсы, я сказал, что не видел, так как у меня начался приступ, во время которого ничего видеть и слышать я не мог.

После этого случая кататься в метро стало мне особенно приятно, так как у меня практически не осталось конкурентов. Евгения же воспользовалась моментом, и заставила меня подстричься и переменить одежду. Я нехотя согласился сделать и то, и другое, и теперь в новенькой полувоенной форме и в блестящих коричневых ботинках уже не выглядел так странно и так страшно, как раньше. Волосы теперь у меня были подстрижены, и не торчали в разные стороны, так что теперь смущал людей только лишь мой лихорадочный румянец, горящий на худом и совершенно бледном лице. Как Евгения не пыталась меня откормить, какие пирожные и торты мне не подсовывала, уходя на работу, я по-прежнему оставался худым. Слишком долго я скитался один по свету, порвав со своей семьей, чтобы просто так, ни с того ни с сего, стать упитанным и нормальным. Кроме того, Евгении, так как ей было уже тридцать пять лет, необходимо было устраивать свою судьбу, и встречаться с мужчинами, ища себе мужа. Поэтому она часто отсутствовала целыми днями, только лишь названивая по телефону, а я, пользуясь этим, специально не ел ее пирожные и торты, и относил их на улицу, отдавая городским голубям. Я специально не хотел выглядеть упитанным и нормальным, потому что мне надо было шокировать людей, возвращая свою космическую гордыню, единственное эффективное оружие, которое оставалось у меня в жизни. Румянец мой тоже постепенно стал сходить на нет, так как я уже не нервничал так, как раньше, и хорошо питался, но поездки в метро мне были жизненно необходимы. Мне не очень было интересно, что же находится в Москве наверху, меня притягивали ее подземелья, я чувствовал свое внутреннее родство с ними, хотя и не очень понимал, почему так происходит. Теперь, по прошествии лет, я понимаю, что это был зов андеграунда.

Чтобы хоть как-то выглядеть так же, как раньше, я придумал одну хитрость, которой научился в провинции у тамошних юродивых. Думаю, что многие видели таких юродивых, причем юродивых в очень плохом, а вовсе не в высоком смысле, где-нибудь в кинотеатре, или в автобусе, где они, сидя в одиночестве, плюют себе под ноги семечки, вовсе не пытаясь собрать их в кулек, или в ладонь. Они оставляют вокруг после себя целые кучи шелухи от семечек, заплевывают все до последней возможности, и забрасывают обертками от конфет, жвачек, и еще Бог знает от чего, обхаркав и изгадив все вокруг до последней возможности. Обхаркав и загадив неявным образом всех находящихся рядом с ними людей, которые оказываются совершенно беспомощными и неподготовленными для того, чтобы дать наглцам отпор. Все это делается совершенно сознательно этими городскими и сельскими юродивыми, причем, как я уже говорил, юродивыми в самом низшем смысле этого слова, ибо высокое юродство совсем другое. Высокое юродство, к которому неосознанно стремился и я, абсолютно погружено в андеграунд, и абсолютно поднято к Богу. Но я, лишившись значительной части своих атрибутов юродивого, и став почти что нормальным, решил перенять тактику этих низших юродивых, и начать в метро лузгать семечки. Мне надо было чем-то шокировать людей, и продолжать воспитывать свою космическую гордыню. И я, прилично одетый, и обутый в блестящие полувоенные башмаки, которые бы мог носить какой-нибудь лейтенант, или майор, со слегка еще горящими туберкулезным огнем щеками, начал лузгать в московском метро семечки.

Надо сказать, что лузгать семечки – это вообще национальная русская традиция, можно даже сказать русская забава и русское хобби, очень многие русские люди лузгают семечки, и удивить их этим занятием довольно трудно. Разве что начав лузгать их в метро, да еще и плевать, и разбрасывать шелуху в разные стороны, в том числе и на сидящих рядом с тобой пассажиров. Так стал поступать и я, и, надо сказать, результат превзошел все ожидания! Мне опять стали делать замечания, стали меня укорять, воспитывать и пытаться вывести вон, разве что по животу не били, и на рельсы после этого не падали. Но я на это не реагировал никак, спокойно себе лузгал семечки, и молча смотрел вперед, улыбаясь своими бледными и плотно сжатыми губами. Меня пытались высмеивать какие-то школьники, но кончилось все тем, что

им самим, более старшие пассажиры, сделали замечание. Думаю, что у них тоже в жизни были ситуации, когда они в общественном транспорте лузгали семечки, и они решили не показывать на сучок в моем глазу, не замечая в своем собственном бревна. Думаю, что если бы я в метро у кого-нибудь что-нибудь украл, или даже убил человека, меня бы тоже не все осудили, потому что у них в жизни тоже было такое, и, осудив меня, они бы осудили самих себя. В России вообще трудно кого-либо осуждать, потому что в этом случае приходится осуждать себя самого, и именно по этой причине люди никогда не осуждают преступников, хотя и желают им всем смертной казни. Это один из парадоксов России, который я понял гораздо позже. А пока же я продолжал кататься в московском метро, плюя семечки направо и налево и обхаркивая с головы до ног пассажиров, чувствуя, что меня многие одобряют, и что моя гордыня покинула уже высшие слои атмосферы, и вышла в открытый космос. А потом напротив меня села Вера. Это уже потом я узнал, что ее зовут Вера, вернее, Вера Павловна, а поначалу я подумал, что это просто очередная московская интеллигентка, вздумавшая тягаться со мной в молчаливой и безжалостной дуэли.

Глава восьмая

Вера, пожалуй, была первым и единственным человеком, который повел себя со мной совершенно иначе, и не так, как другие. Все другие или пытались меня игнорировать, считая чем-то вроде шелудивого пса, случайно прорвавшегося в метро, или вступали со мной в дуэли, надеясь своей внутренней силой сломить мою внутреннюю силу. Вера же повела себя совершенно иначе. Она сразу же поняла, кто я такой, поняла, очевидно, даже лучше, чем понимал себя я сам, и попыталась с высоты своего понимания помочь мне. Попыталась вытащить меня из андеграунда. То есть ее помощь изначально сводилась к тому, чтобы вытащить меня из подземелья, и заставить жить по законам, принятым наверху. Она не учла всего лишь одного – того, что я не хотел, чтобы меня вытаскивали из андеграунда, а также того, что я опущен туда, возможно, еще до своего рождения, и вытащить меня наверх уже вообще невозможно. Лет ей, кстати, было примерно столько же, сколько и моей Евгении, но выглядела она намного лучше, и намного красивей, чем Евгения. Она была красивой, уверенной в себя москвичкой, у которой все в жизни прекрасно сложилось, и которая желала, чтобы так же все прекрасно сложилось и у других. Она никогда не сталкивалась с существами, подобными мне, и не понимала, что мы из-за своей отверженности ненавидим таких уравновешенных и таких успешных людей гораздо больше, чем остальных. Ненавидим, и стараемся по возможности нарушить их уютный и спокойный мирок.

Впрочем, чем я мог навредить ей, успешной и спокойной москвичке, которая неожиданно решила, что такого шелудивого пса, как я, надо срочно спасать? Я привычно сидел в метро в самом конце вагона, возле прозрачной двери, отделяющей его от другого такого же вагона, и плевал свои семечки на пол и на стоящих передо мной пассажиров, вытаскивая их из большого бумажного кулька, купленного в переходе у какой-то старушки. Веру мне было видно только эпизодически, когда ее не заслоняли входившие и выходящие пассажиры, и меня сразу же смутил ее любопытный и доброжелательный взгляд. Такой любопытный и доброжелательный взгляд русских женщин будет потом встречаться мне в жизни не раз, и он будет означать только одно: эти женщины готовы жертвовать многим ради чудовища. Ради шелудивого пса, вроде меня, которого надо спасать, вместо того, чтобы пристрелить где-нибудь в темном и глухом переулке. Этот доброжелательный и любопытный взгляд, как я понял потом, означал для меня очень большую опасность, увидев его, я должен был немедленно вставать, и бежать без оглядки куда угодно. Но точно так же этот взгляд означал, что самой женщине надо вставать, и немедленно бежать куда глаза глядя, потому что жалость к шелудивому псу, вроде меня, не сулит ей ничего хорошего. Именно по этой причине женщины так часто бывают несчастливы: они заменяют любовь жалостью к шелудивым псам, и портят жизнь как себе, так и им. Шелудивые псы не нуждаются в жалости, и обязательно кусают за руку тех, кто их жалеет. Впрочем, тогда, в метро, об этом не думал ни я, ни она. Она просто доброжелательно и любопытно посматривала на меня время от времени, а когда я доехал до конечной станции, встала, и пошла за мной следом. Сначала я думал, что она начнет читать мне мораль, как мой давешний седенький старичок, которого увезла скорая, или вообще, возможно, начнет бить, как мой упавший на рельсы Рэмбо. Но она не сделала ни того, ни другого, она просто поднялась по эскалатору вместе со мной, и вышла на улицу, продолжая держаться рядом, и стараясь не потерять меня из виду. Поняв, что меня не будут ни учить жить, ни бить, я спокойно подошел к бабушкам, продающим у метро семечки, и стал торговаться с одной из них, желая купить еще один кулек. Торговаться из-за кулька семечек было унижительно и смешно, поскольку кулек этот стоил сущие копейки, но дело в том, что все свои деньги, которых у меня было не так уж много, я тратил исключительно на метро и на семечки, которые довольно быстро заканчивались. Мне постоянно приходилось выходить наверх, и покупать новые семечки, поскольку

моя гордыня, которую я взращивал, требовала все новой и новой пищи. Моя гордыня, сидящая в клетке моего тела, словно дикий зверь, росла и мужала на этих семечках, продающихся у всех станций метро хитрыми и расчетливыми старушками, которые или недожаривали их, или, наоборот, пережаривали, а также сплошь и рядом грели в них свои старческие, скрюченные ревматизмом, ноги. Я искренне ненавидел и этих бабушек, и их вонючие семечки, но был вынужден по десять раз в день покупать их, тратя на это все свои деньги. Я был вынужден, как это ни смешно, и даже ни унижительно, каждый раз торговаться со старухами, которые, как и я их, искренне меня презирали. В каком-то смысле мы с этими старухами были сообщниками, мои поездки в метро были теперь невозможны без них, а их финансовое благополучие было невозможно без меня. Вот и сейчас, засунув руку в карман, я обнаружил там очень мало денег, так что у меня хватало их только лишь на метро, а на жалкий кулек семечек доставало нескольких пятаков. Начав было унижительно торговаться с особенно неприятной старухой, сущей ведьмой, скрюченной, и одетой в какие-то лохмотья, я вдруг услышал рядом с собой ласковый и доброжелательный голос:

– Вам не хватает денег на семечки, хотите, я вам помогу?

Обернувшись, я увидел Веру, о которой на время забыл во время своего поиска семечек. Краска стыда сразу же залила мое лицо, ибо унижительно было, когда посторонняя женщина дает тебе нищее подаяние на покупку вонючей и ничтожной дряни, какой и были, по – существу, эти пресловутые семечки.

– Мне не нужна ваша помощь, – сердито буркнул я в ответ, – я и так могу, поторговавшись, купить этот жалкий кулек.

– Не надо торопиться, – опять доброжелательно сказала она, – этот кулек не стоит того, чтобы из-за него торговаться. Раз старушка просит свою цену, то пусть получит ее, это будет справедливо, да ведь и ей надо получить вознаграждение за свой труд. Вот, пожалуйста, возьмите за один кулек, только, если можно, хорошо прожаренных, и без мусора! – И она протянула старухе необходимые деньги.

Старуха что-то пробурчала в том смысле, что у нее семечки без мусора и всегда хорошо прожарены, и отдала Вере кулек. Вера взяла кулек, и, подхватив меня под руку, потянула куда-то в сторону.

– Куда вы меня тянете? – спросил я у нее.

– Давайте отойдем в сторону, и вместе пощелкаем семечки, – сказала она. – Я, как всякая русская женщина, очень люблю лузгать семечки, и только стесняюсь делать это одна. Мне нужна компания, и, надеюсь, что вы мне ее составите. Кстати, меня зовут Вера Павловна.

– Семен, – буркнул я в ответ, – просто Семен, и можно без всякого отчества. Не люблю, когда кто-нибудь называет меня по отчеству.

– Хорошо, Семен, – рассмеялась она, – я не буду называть вас по отчеству. Я тоже, если честно, больше люблю, когда меня называют просто Верой. Пойдемте под это дерево, и вместе полужгаем семечки. Я уже давно хотела это сделать, но стеснялась людей, и встреча с вами для меня настоящий подарок.

Мы отошли под дерево, покрытое зеленой листвой, поскольку была уже середина мая, и действительно стали лузгать семечки, держа попеременно кулек, только что купленный у старухи. В действиях Веры Павловны не было ничего наигранного, было видно, что она действительно получает удовольствие от этого процесса.

Вы не волнуйтесь, я вам отдам деньги за этот кулек семечек, – начал было я, все еще чувствуя, что краска стыда не совсем сошла с моего лица. – Если хотите, могу отдать прямо завтра, если вы опять будете ехать по этому направлению.

– Не беспокойтесь, Семен, – со смехом сказала она, – это такая безделица, что о ней нет смысла и говорить. Тем более, что я тоже лужгаю семечки, да к тому же общаюсь с вами, что, кстати, доставляет мне немалое удовольствие, и тоже, наверное, стоит денег.

– Мало кому доставляет удовольствие общаться со мной, – возразил ей я. – Люди предпочитают или обходить меня стороной, или читать лекцию на тему о том, как надо жить.

– Я не собираюсь читать вам лекцию, – ответила она, – я достаточно много читаю их в институте.

– Вы читаете в институте лекции?

– Да, в архитектурном, я там работаю преподавателем, точнее, доцентом, и читаю лекции по теории современной архитектуры. Скажите, а вы уже где-нибудь учитесь?

– Пока что нет, но думаю учиться, потому что не могу вечно жить у Евгении.

– А Евгения – это кто?

– Это моя дальняя родственница, она когда-то приехала в Москву из того же города, что и я, и уже успела устроиться здесь, и даже получить неплохую квартиру. Она каждое утро дает мне деньги и советы на новый день, из этих денег я и отдам вам долг.

– За семечки?

– Да, за семечки. Вы, очевидно, должны презирать человека, который берет деньги у своей дальней родственницы!

– Почему я должна это делать? Половина моих студентов берут деньги у родителей, или у родственников, а вторая половина вообще неизвестно у кого. Или у любовников, или у любовниц, или у благотворительных фондов, так что ваш вариант совсем не зазорный, главное, чтобы вы поступили в институт, а потом бы получили специальность.

– И перестал в метро лузгать семечки?

– Я об этом не говорила. Я же уже сказала, что сама русская женщина, и с удовольствием бы лузгала семечки где угодно, хоть в своем институте, хоть в метро, если бы там были для этого установлены специальные места.

– Но, тем не менее, вы не делаете этого!

– Мне уже не надо самоутверждаться, и потому я не делаю этого. А если бы мне надо было самоутвердиться, я бы с удовольствием составила вам компанию.

– Вы бы составили мне компанию? Вы не шутите?

– Ничуть, я бы действительно составила вам компанию, и оплевала бы вместе с вами половину метро!

– Но я вовсе не самоутверждаюсь, мной движут совсем другие причины!

– А можно узнать, какие?

– Я не могу вам об этом сказать, мы еще недостаточно с вами знакомы.

– Так давайте познакомимся поближе. Приходите ко мне в институт, я покажу вам свою кафедру, а потом, возможно, вы сами поступите к нам.

– Я не хочу быть архитектором, у меня нет к этому никакого таланта.

– Тогда приходите ко мне домой, я познакомлю вас с мужем, он тоже архитектор, и работает в институте вместе со мной.

– И вы пригласите к себе домой человека, который оплевал семечками половину метро, и собирается делать это и дальше?

– А почему бы и нет? Нам с Алексеем будет интересно узнать, какие же мотивы вами движут. Я чувствую, что постепенно утрачиваю контакт с современными молодыми людьми, и знакомство с вами поможет мне лучше узнать психологию молодежи.

– Я к молодежи никакого отношения не имею, я глубокий старик, а молодежь презираю и ненавижу, как, впрочем, и стариков.

– Вот и хорошо, расскажете об этом нам с Алексеем. И, кроме того, я хочу нарисовать ваш портрет.

– Вы хотите нарисовать мой портрет, вы не шутите?

– Нисколько, я хорошо рисую, и постоянно пишу портреты своих друзей и знакомых. Я бы хотела стать вашим другом, и нарисовать ваш портрет, поскольку у вас очень характерная внешность.

– У меня нет никакой внешности, я урод, и писать портреты таких людей, как я, это настоящее извращение!

– Вы вовсе не урод, и у вас действительно очень характерная внешность. Вот вам мой адрес и телефон (она написала на бумажке, и отдала мне свой адрес и телефон), заходите в любое время во второй половине дня. Только позвоните заранее, чтобы мы случайно куда-нибудь не отошли.

– Я не обещаю, что приду, – сказал я, забирая у нее бумажку с адресом и телефоном. – Скорее всего, не приду, поскольку у меня еще очень много дел, которые я не доделал.

– Не оплевали еще семечками всю Москву? – ехидно спросила она.

– Вы очень догадливы, – ответил я ей, и улыбнулся своей самой бледной и самой саркастической улыбкой, на какую был только способен.

– Тогда вот вам деньги на новый кулек семечек, – задорно сказала она, засовывая мне в кулак вытащенную из кошелька бумажку, – отдадите потом, когда будет возможность. А в гости ко мне непременно приходите, если хотите иметь в Москве друзей, и если желаете увидеть свой собственный портрет.

После этого она улыбнулась на прощание, и ушла, а я, немного постояв под зеленым деревом, пошел к метро покупать новый кулек семечек.

Глава девятая

Когда я говорил Вере Павловне, что собираюсь поступать в институт, я вовсе не шутил, ибо это было действительно так. Решив приехать в Москву, я заранее все рассчитал, и понял, что единственная возможность для меня остаться здесь как можно дольше – это поступить в какой-нибудь институт. В какой именно институт – никакого значения для меня не имело, поскольку я обладал очень хорошей памятью и был неплохо начитан. Кроме того, привычка к постоянным размышлениям и самоанализу сделали из меня настоящего философа, способного решить любую проблему, какой бы трудной она ни была. Я был способен учиться в любом институте, но выбрать решил такой, который бы не заставлял меня тратить на учебу слишком много моего бесценного времени. Разумеется, были учебные заведения, которые мне не подходили в силу того, что у меня не было соответствующих талантов, и среди них – архитектурный институт, в котором преподавала она. Это не значит, что талантов у меня не было вовсе, напротив, их у меня было достаточно, но таланта рисовать не было определено. По этой причине я сначала решил не тратить на Веру Павловну времени, и вообще к ней не ходить. Тем более, что ее открытость и доброжелательность меня сильно смущали. Я чувствовал опасность, исходящую с ее стороны, чувствовал инстинктивно, неосознанно, но достаточно ясно, что опасность эта очень велика. Я был человеком отверженным, выброшенным обществом на самое дно, и мстящим за это обществу самым жестоким образом. То есть – презирающим его, и плюющим на него и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Разумеется, в первую очередь я мстил сам себе, и разрушал сам себя, падая все ниже, в самые глубокие щели и ямы андеграунда. Но и общество тоже было вынуждено от меня защищаться, о чем лучше всего свидетельствовало мое знакомство с Верой Павловной. Ведь ее доброжелательный и дружеский тон по отношению ко мне как раз и были формой ее защиты от моего дерзкого и наглого поведения. И, следовательно, поскольку она была активным членом общества, это была форма защиты самого общества от меня самого. И приглашение меня в гости к ней тоже было формой защиты общества от таких, как я, ведь она определенно хотела приручить меня, сделать послушным, словно комнатная собачка, и этим обезопасить от меня и саму себя, и общество, членом которого она была. Поэтому, частично поняв все это, частично почувствовав грозящую мне опасность, я сначала вообще решил не ходить к ней в гости. Я был существом падшим, молодым, но падшим, и я вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь поднимал меня с колен, а хотел оставаться в этом состоянии как можно дольше. Но потом, поразмыслив, я все же решил, что визит к Вере Павловне поможет мне лучше понять психологию таких успешных людей, как она, и научит меня приемам борьбы с ними. Кроме того, еще первоначально, еще на стадии раздумий о том, идти мне к ней, или не идти, стало расти во мне некое подленькое и гаденькое предчувствие некоего скандала. Скандала настолько большого, настолько подлого и гадкого, что мне уже с самого начала было страшно о нем подумать. И, тем не менее, я знал уже тогда, на первых порах моих раздумий и размышлений, что скандал этот обязательно произойдет, что в центре его буду я, и что он испачкает и унижит меня еще больше, чем я испачкан и унижен сейчас. Что сейчас я достаточно унижен и испачкан своими семечками, которые я плюю в метро на ноги и на одежду окружающих меня там людей. Что на самом деле не на них я плюю, а на самого себя, унижая и пачкая себя на глазах всех остальных. Но это мое прилюдное унижение, на которое пассажиры метро отвечали мне презрительным молчанием, еще недостаточное, неполное, и его надо развить и умножить. И что будущий скандал, который обязательно произойдет, будущее мое унижение, будет еще более подлое и еще более гадкое. Что оно опустит меня в андеграунд еще ниже, чем я сейчас нахожусь, и что для этого мне обязательно надо сходить домой к Вере Павловне. Разумеется, мне надо будет пройти через знакомство с ней и с ее мужем, а, возможно, и с их друзьями, но игра должна стоить свеч, потому что конечный результат все

спишет и все оправдает. И решив так, я выждал несколько дней, продолжая оплевывать москвичей и гостей столицы своими купленными у старух вонючими семечками, чувствуя, что уже теряю интерес к этому занятию, и все же позвонил Вере Павловне. Она очень обрадовалась, услышав в трубке мой голос, и сказала, что с нетерпением ждет моего визита.

Я, кстати, ничуть не лукавил, когда говорил, что я старик, а вовсе не молодой человек. Я действительно был стариком, хотя по паспорту мне и было всего двадцать лет, но внутренне я был глубоко чужд всему, во что верят и к чему стремятся так называемые молодые люди. Все их честолюбивые надежды и мечты разбивались в итоге о суровые скалы Отечества, которое не верило их юношеским слезам, и о еще, возможно, более суровые, покрытые белой пеной скалы Москвы, которая не верила слезам вообще. И долго потом в бурных волнах Отечества и Москвы плавали тогда их безвольные тела, из последних сил тянущие к тусклому небу свои белые руки, и взирающие на сумрачный полдень своими постепенно угасающими глазами. Они умирали молодыми, не успев даже состариться, умирали или явно, или неявно, продолжая существовать уже по инерции, по привычке, не понимая, зачем они это делают. Они даже порой доходили до глубокой старости, втайне мечтая о самоубийстве, и о гибели того Отечества и той надменной столицы, которые так жестоко обошлись с ними. Я давно уже, путем логических рассуждений, понял это, и решил, что выгоднее мне с самого начала быть стариком, быть внутри себя, в своей собственной душе, хоть внешне я и кажусь остальным двадцатилетним бледным и худым молодым человеком, на щеках которого постоянно горит лихорадочный туберкулезный румянец. Разумеется, я не собирался рассказывать всем вокруг, что я глубокий старик, но и скрывать этого тоже особо не хотел. Поэтому, идя домой к Вере Павловне, я решил, что должен быть прежде всего честным перед самим собой, и если обстоятельства заставят меня, я не буду скрывать ничего, и стану говорить то, что думаю. Кроме того, ядовитый змей – искуситель уже начинал мне нашептывать в ухо о неизбежности будущего грандиозного скандала, во время которого волей – неволей придется сказать всю правду. И поэтому я решил вести себя по обстоятельствам, ничего не стесняясь, и ничего ни от кого не скрывая, тем более, что Вера Павловна достаточно обо мне всего знала, и наверняка успела рассказать обо всем своему мужу. А возможно, и не только ему одному.

Для того, кто ориентируется под землей, не составит большого труда ориентироваться наверху. Изучив вдоль и поперек московское метро, сделав его себе родным домом, я так же быстро изучил и саму Москву. Вера Павловна жила на Плющихе, в просторной квартире, по площади даже, пожалуй, превосходящей квартиру моей Евгении. Потолок в прихожей у Веры Павловны был выполнен в виде звездного неба, на стенах висели картины и рисунки хозяйки, и везде, где можно, стояли шкафы с книгами.

– Я рада, Семен, что вы откликнулись на мое приглашение, – сказала она, проводя меня в большую гостиную. – Позвольте познакомить вас с моим мужем, его зовут Алексей, и он тоже, как и я, доцент архитектурного института. Алексей, познакомьтесь с Семеном, он нигилист, и приехал в Москву поступать в институт.

– Вы и правда нигилист? – спросил у меня Алексей, пожимая мою руку, и жестом приглашая сесть на диван.

– Я не очень понимаю, что это такое, – ответил я ему, присаживаясь на краешек огромного дивана, который мог бы вместить не менее десяти человек. – Я просто протестую против общества, которое отвергло меня еще до моего рождения, и пути с которым у меня разошлись!

– И каковы же формы вашего протеста? Вы печатаете листовки, и разбрасываете их на улицах Москвы?

– До этого еще дело не дошло, – со смехом сказала Вера Павловна, вкатывая в гостиную тележку с напитками и бутербродами. – Семен пока что оплевывает в метро москвичей и гостей столицы, забрасывая их шелухой от семечек, на которые тратит все свои деньги.

– Вы действительно так делаете? – спросил Алексей, весь, кстати, заросший бородой, и одетый в грубый вязаный свитер.

– Это моя форма протеста, – ответил я ему. – У меня нет денег ни на листовки, ни на что другое, да, признаться, листовки мне и не нужны. Я просто протестую против общества, которое меня отвергло, и уже никогда не сделает своим.

– А почему вы это делаете под землей?

– Метро, и вообще подземелья ближе мне, чем все, что находится на поверхности. Я человек подземелья, дитя подземелья, и поэтому делаю это в метро.

– Есть такое иностранное слово – андеграунд, – оно еще не совсем прижилось у нас, но, думаю, в скором времени его начнут активно использовать.

– Я запомню это слово, – ответил я ему, – возможно, что скоро я тоже буду его активно использовать.

– Хватит иностранных слов, – захлопала в ладоши Вера Павловна, – напитки и бутерброды прибыли, прошу к столу! Семен, скажите, вы пьете вино?

– Пью, ответил я ей, – а также курю, но только тогда, когда есть деньги.

– Считайте, что они у вас есть. Вот сигареты, вот вино, вот бутерброды. Предлагаю поднять стаканы за нигилистов!

– Присоединяюсь, – ответил бородатый Алексей, передавая мне стакан с вином. – За нигилистов, и за тех, кто ими интересуется!

Мы выпили и закурили. Я не пил уже довольно давно, а также довольно давно не курил, хотя у Евгении дома и закуривал иногда забытые ей сигареты, а поэтому сразу же захмелел. Голова у меня приятно кружилась, я чувствовал, что мне очень легко, и что я нахожусь в компании людей, с которыми можно говорить о самых разных вещах.

– Вы интересуетесь нигилистами, – спросил я у Алексея, – но почему вы это делаете?

– Меня вообще интересует любой протест, – ответил он мне, – будь то протест хиппи, или студенческой молодежи во Франции. И уж тем более меня интересует молодежный протест в России, о котором вообще мало кому известно. Современная архитектура, которую мы преподаем с Верой, тоже несет в себе элементы протеста, и поэтому у вас с ней много общего. В каком-то смысле вас можно сравнить с современным архитектурным шедевром, пока что только спроектированным, но который в скором времени обязательно будет построен в Москве.

– Москва скоро сильно изменится в архитектурном плане, – сказала Вера Павловна, – мы с Алексеем в этом уверены, хотя очень многие и сомневаются в этом.

– Но в таком случае, следуя вашей логике, в Москве обязательно должны появиться люди, которые будут протестовать против всего, что им не нравится!

– Вот именно, Семен, вот именно, – воскликнул Алексей, – вы хорошо уловили мою мысль! Новые архитектурные формы и протест против старых порядков обязательно идут рука об руку. Раз появились вы со своим метро и со своими семечками, то появятся и другие, с листовками, и политическими лозунгами, а также здания совершенно новой архитектуры, созвучные новой эпохе!

– Я вовсе не человек новой эпохи, – ответил я ему, выпуская к потолку сигаретный дым, – я человек сразу всех эпох, и прошлых, и будущих, я отверженный, и одинаково их ненавижу. Вам нужны перемены, чтобы по вашим проектам построили новые необычные здания, а мне нужны они, чтобы разрушить все здания вообще, в том числе и ваши, которые вы еще не построили. Я вовсе не человек завтрашнего дня, я вообще не человек дня, а скорее человек ночи. Я человек подземелья, или, как вы только что сказали, человек андеграунда. Я не ваш союзник, а ваш противник, ибо ненавижу все успешное, и находящееся наверху, и признаю только то, что скрыто во тьме!

– Нигилизм Семена абсолютен и беспощаден, – сказала Вера Павловна, наполняя наши опустевшие стаканы вином, и подавая новые бутерброды. – Он опасен не только для власти, но и для таких нейтральных людей, как мы. И все же я надеюсь, что нам удастся сделать его своим союзником!

Глава десятая

Я так давно не пил, что очень быстро захмелел, и Вера Павловна с Алексеем оставили меня ночевать у себя. Это вовсе не входило в мои планы, поскольку я вовсе не хотел с ними сближаться, я просто хотел разведать обстановку, и понять, как мне надо себя вести с такими людьми, как Вера Павловна, которые не собирались читать мне мораль, и уж тем более воздействовать на меня каким-нибудь другим агрессивным способом. Переночевав у своих новых знакомых, я был вынужден нанести им еще два или три визита вежливости, и поневоле познакомился с их образом жизни, а также с некоторыми из их друзей. Вера Павловна и Алексей считали себя людьми современными, демократическими, верили в скорые перемены, и были на равной ноге со всеми: и со студентами, и с институтским начальством. Но мне такая демократичность была еще более чужда, чем недемократичность какого-нибудь большого чиновника. Я был одиночкой, отверженным миром, я вовсе не был ни хиппи, ни их раскованным студентом, держащим себя запанибрата с преподавателями. И уж тем более я не хотел, закончив когда-нибудь институт, работать на благо общества, становясь инженером, учителем, или врачом. Образование мне было необходимо для того, чтобы лучше ориентироваться среди подводных скал и течений, во множестве существующих в современном обществе, необходимо было для знаний, которые делали меня более независимым, чем необразованных и неспособных к самостоятельному мышлению индивидуумов. Образование мне было необходимо для мимикрии, для искусного притворства, для выживания, ибо я знал, что мой туннель, по которому я бреду в андеграунде, не закончится никогда. И вот сейчас, поддавшись на уговоры и чары Веры Павловны, я был вынужден общаться с ней и с ее миром, а также с их друзьями, которые ежедневно приходили к ним в их дом. Здесь было много довольно любопытных типов, как профессоров, так и студентов, некоторые из которых откровенно заигрывали со мной, а другие, наоборот, смотрели, как на мерзкое насекомое. Вера Павловна, разумеется, успела уже им рассказать про мою эпопею с семечками, и про то, как я заплывал половину метро, и многих это приводило просто в дикий восторг. Меня постоянно просили вновь и вновь рассказывать в малейших подробностях о том, как я покупал у грязных старух свои вонючие семечки, как мне постоянно не хватало денег, как быстро эти семечки заканчивались, и мне приходилось вновь и вновь подниматься наверх, чтобы пополнить их стратегические запасы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.